



ПЕСНЯ ДУШИ

200

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
Г. МОСКВА

18 АПР 1981

Однажды он занес в записную книжку: «Над Читой гроза... Смотрю неотрывно в окно... Казалось бы, что в этой картине привлекательного?.. Что-то завораживает, держит у окна, более того, рождает зуд в руке, хочется взять перо и писать обыкновенно о самом обыкновенном».

Запись эту Г. М. Марков сделал в ту золотую пору, когда все юбилеи были еще за дальними хребтами, когда крепкие плечи охотника и солдата еще не догадывались, какой груз общественных и государственных забот придется им принять, когда жажду «писать обыкновенно о самом обыкновенном» довольно просто было утолить: с пером в руках сестя у окна, уехать на заимку, затеряться в каком-нибудь маленьком таежном райцентре — творческая воля, почти полная принадлежность самому себе, сладкая, старинная маета — составлять из слов, возродить пером нашу мимолетную жизнь.

Потом, достигший народного признания и всех литературных лавров, Марков скажет, что «человек призванный всегда найдет время для того, чтобы осуществить себя в главном», что надо делить день, если другого не дано, на два дня: с пяти утра — сочинительство, примерно с полудня — общественная работа — эту суровую «двудневность» он соблюдает долгие годы (должно быть, так писалась «Сибирь», так писалась повесть последних лет и только что опубликованный в «Знамени» роман «Грядущему веку»), но как бы ни был безжалостен и плодотворен подобный режим, то давнее, в молодые годы наступившее «что-то завораживает, держит у окна», скорее всего, является без оглядки на режимы, возможно, в разгаре второго дня, и надо погасить зуд в руке до пяти утра, отодвинуть зыбкое, хрупкое, нетерпеливое «что-то завораживает» до рассветного часа, а дневные заботы тяжелы, угловаты и так легко это «что-то» разбить, развязать — пусть утром напишется хорошо и свободно, сожаление о внезапно затрепетавшем и тут же упорхнувшем «что-то» будет долго досаждать, так сказать, неизреченностью.

По старому охотничьему обычаю, поднявшись на перевал, даже юбилейный, следует соорудить жаркий, бездымный костерок где-нибудь в кедровом затишке, чтоб не донимали студеные, вершинные сквозняки, вскипятить чаю, посидеть на сухой колодине, повдыхать смородиновый парок и как бы незначай оглянуться — в голубовато-прозрачной дали мелькнет та светлая, зеленая луговина, вместившая и читинскую грозу за окном, и обыкновенное чувство радости, что эта гроза была.

Не исключено, предположи-

тельная тональность моих замечаний смутит некоторых читателей: зачем гадать — мучительно, не мучительно, — зачем вбивать ностальгический клин между читинской записью и поздним признанием, что «человек призванный всегда найдет время...» — надо было уточнить у самого Маркова, а потом уж и рассуждать?

Смущение долею уместное, только, мне кажется, писательское слово существует именно для того, чтобы приохотить нас к вольным рассуждениям, а то мы так все уточняем, согласовываем, увязываем, что для размышлений времени не остается.

Впрочем, уточню следующее: я не совсем прав, когда говорю, что в пору читинской записи Георгий Мокеевич не догадывался, какой груз общественных и государственных забот придется принять на плечи, — думаю, догадывался, готовился к этому грузу, ибо ощущение своей судьбы, своего предназначения у него всегда было. Если можно так выразиться, контуры своей планиды он видел и в ту пору. В Иркутск я приехал в 1961 году, когда Марков уже несколько лет был москвичом, тем не менее его присутствие в иркутской литературной жизни ощущалось столь настоячиво, что, казалось, он в недалкой отлучке и скоро вернется. Его вспоминали сверстники — К. Ф. Седых, Г. Ф. Кругуров, Е. В. Жилкина, И. С. Луговской, — его вспоминали читатели от Слюдянки до Ербогачена, его литературные взгляды и устремления в значительной мере отражались в будничной работе местной писательской организации, — короче, присутствие его проявлялось, так сказать, в иркутской литературной теории и в практике, в особенности если возникали те или иные издательские неурядицы: надо будет позвонить Георгию Мокеевичу (или написать), — причем говорившие это обычно принахмурились с горделивой многозначительностью: вот, мол, у нас какой заступник есть. Наверное, и звонили, и писали...

К. Ф. Седых в последние годы тяжело болел. Однажды зашел его навестить — микстуры, порошки, разные склянки занимали и кресло, и стул, и столик в изголовье, и сам Константин Федорович, маленький, усохший, со скорбно увеличенными линзами глазами болезненно вписывался в этот аптекарский реvizит. Поохал, пожаловался, потихоньку отошел от болезни, разговорился и даже привстал — седые вихры забавно встопорчились на голове. Вспомнил о Георгии Мокеевиче.

— Все-таки он соединял нас. — Седых характерно подернул указательным пальцем нос. — Без него мы все сами по себе стали, а он соединял, умел соединять.

Почему Константин Федорович сказал «все-таки» — не знаю, видимо, воспоминание о молодости воскресило какие-то давние споры или несогласия, которые и отозвались в этом «все-таки».

Как-то рассказывал А. Преловский:

— Молодым, в сущности, мальчишкой собрался я в Братск — он только-только начался. Творческие командировки были тогда не в ходу, приживались почему-то с трудом, и в Иркутске мою затею с Братском встретили, мягко говоря, холодно. Куда, зачем, ничего у него не выйдет! Георгий Мокеич тогда настоял, чтоб меня послали в Братск. Говорил, что в молодых надо вкладывать душу, сердце; что вложим, то и получим. Не надо бояться, что молодые чего-то не сумеют...

Собирать, соединять вокруг себя людей, вкладывать душу в едва проклюнувшийся дар — конечно, он знал, что ему на роду написано жить, в основном, не для себя и потому ладил свою понягу — таежный рюкзак — основательно, под добрую поклажу. Два дня в одном — плата за однажды угаданную судьбу, вряд ли всегда эти дни живут в мире и согласии, но и противоборство их помогало главному: осуществить себя.

История моего знакомства с Г. М. Марковым ограничена рамками писательских съездов и иных литературных собраний, а вернее, передышками в их работе. Иногда лишь успевал передать поклон от иркутян, иногда сказать два-три слова о последних охотничьих трофеях, а однажды постояли, поговорили о книге В. Н. Шерстобова «Илимская пашня», книге редкой, замечательной своими социально-экономическими обобщениями и своим ясным, естественным слогом, каким владели русские интеллигенты.

Верно, и в эти десять минут к Маркову кто-нибудь да подходил: тот с немилосердным комплиментом, этот с величайшей просьбой, третий с загадочно молчаливой солидностью пожмал руку и степенно удалялся. Конечно, когда ты на виду и когда ты, как говорил один знакомый милиционер, при большом служебном исполнении, неизбежен треск комплиментов и блеск неживых улыбок — из-за них, между прочим, так злободневно звучит давнее дневниковое наблюдение Георгия Мокеевича: «Меня хвалят, а я не верю, и больше того, мне почему-то бывает потом больно и горько». Кто знает, сколько раз эти «больно и горько» оравляли первый день и мешали второму?

В завершение напомним последние строки «Строговых»: «Широкий, неохватный простор наполнился разнотонными звуками. С каждой минутой их становилось больше и больше, и они сливались в один общий гул.

Сколько раз за прожитые годы Матвей слушал эту песню! Но сегодня он воспринимал ее по-особому: ему казалось, что это поет не земля, а душа его».

Отнесем их сегодня полной мерой к Георгию Мокеевичу. Иногда можно (да простят нам критики и литературоведы) соединить героя романа с автором его. И пусть сольются песни земли и души.

Вячеслав ШУГАЕВ.